

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ, ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ (СБОРНИК)

Уникальные биографии

Лев Толстой

Толстой и Достоевский (сборник)

«Public Domain»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1

Толстой Л. Н.

Толстой и Достоевский (сборник) / Л. Н. Толстой — «Public Domain», — (Уникальные биографии)

ISBN 978-5-17-100352-4

«Два исполина», «глыбы», «гиганты», «два гения золотого века русской культуры», «величайшие писатели за всю историю культуры». Так называли современники двух великих русских писателей – Федора Достоевского и Льва Толстого. И эти высокие звания за ними сохраняются до сих пор: конкуренции им так никто и не составил. Более того, многие нынешние известные писатели признаются, что «два исполина» были их Учителями: они оттачивались от их произведений, чтобы создать свой собственный художественный космос. Конечно, как у всех ярких личностей, у Толстого и Достоевского были и враги, и завистники, называющие первого «барином, юродствующим во Христе», а второго – «тарантулом», «банкой с пауками». Но никто не прославил так русскую литературу, как эти гении. Их имена и по сегодняшний день произносятся во всем мире с восхищением.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-17-100352-4

© Толстой Л. Н.
© Public Domain

Содержание

Предисловие	6
Лев Толстой	8
Исповедь	8
Воспоминания	41
Введение	41
Конец ознакомительного фрагмента.	58

**Лев Толстой, Федор Достоевский
Без любви жить легче. Слезинка
ребенка. Дневник писателя**

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

«...Когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек»

«Два исполина», «глыбы», «гиганты», «два гения золотого века русской культуры», «величайшие писатели за всю историю культуры». Так называли современники двух великих русских писателей – Федора Достоевского и Льва Толстого. И эти высокие звания за ними сохраняются до сих пор: конкуренции им так никто и не составил. Более того, многие нынешние известные писатели признаются, что «два исполина» были их Учителями: они отталкивались от их произведений, чтобы создать свой собственный художественный космос. Конечно, как у всех ярких личностей, у Толстого и Достоевского были и враги, и завистники, называющие первого «баринном, юродствующим во Христе», а второго – «тарантулом», «банкой с пауками». Но никто не прославил так русскую литературу, как эти гении. Их имена и по сегодняшний день произносятся во всем мире с восхищением.

И тем страннее выглядит поразительный факт из их жизни: они ни разу не встретились! Хотя родились в двадцатых годах XIX века с разницей лишь в семь лет. И жили не так далеко: Толстой – под Тулой, Достоевский – в Питере. У них были общие знакомые. Например, общий литературный оппонент Иван Тургенев, руководитель журнала «Современник» Николай Некрасов, философ Николай Страхов. И почему-то ни одному из них не пришло в голову взять да и привезти одного к другому.

Однажды 10 марта 1878 года Толстой и Достоевский даже посетили одно собрание – лекцию магистра Петербургского университета Владимира Соловьева. Они находились в одном зале, возможно, даже сидели почти рядом, но даже случайно глазами не встретились, в дверях не столкнулись. Достоевский был со Страховым. Почему тот даже не подумал, наконец, познакомиться двух «гигантов»? Загадка.

А ведь они так восхищались творчеством друг друга! Достоевский был в восторге от романов «Война и мир» и «Анна Каренина», называл автора «богом искусства» и «необыкновенной высоты художником», а его творчество «гениальным». В статье об «Анне Карениной», которую он поместил в своем «Дневнике писателя» Федор Михайлович писал: «Такие люди, как автор Анны Карениной, – суть учителя общества, а мы лишь ученики их». Толстой же, по его собственному признанию, «умилялся», читая «Униженных и оскорбленных». А в одном из своих писем писал своему другу: «...читал «Записки из мертвого дома». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина... Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». А последней книгой, которую читал Толстой перед своей смертью, были «Братья Карамазовы». Вот как была велика сила притяжения между гениями, однако их пути все время расходились. Кроме того, не смотря на то, что оба переписывались со всеми видными писателями, друг другу они не отправили ни одного письма. Снова загадка, над которой литературоведы и биографы до сих пор ломают голову.

Конечно, в первую очередь исследователи списывают «не встречу» на случайное стечение обстоятельств. Так, например, в 1855 году Толстой приезжал в Петербург к Тургеневу и Некрасову. Но Достоевского в городе не было, он был в ссылке. Когда же он вернулся из заключения, Толстой уже в Питере не появлялся, проводил почти все время только в Ясной Поляне или в Москве. Но Достоевский же мог доехать до Москвы?

По другой версии, писатели, восхищаясь творчеством друг друга, все-таки относились друг к другу с прохладцей. И, возможно, стремясь к встрече, подсознательно противились этому желанию. Опасались разочаровать и разочароваться?

Так, по воспоминаниям современников, Достоевский не скрывал, что Толстой – больше художник, чем мыслитель. А Толстой критически относился к манере и стилю письма коллеги. И вообще, как писал позже Максим Горький в своей книге о Толстом, «о Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая». По сведениям биографов, Достоевский за год перед своей смертью, в 1880 году, даже все-таки собрался приехать в Ясную Поляну, но поверил распространившимся слухам о сумасшествии Льва Николаевича и испугался встречаться с безумцем. 27 мая 1880 года Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». Хотя в это время и самого Федора Михайловича многие недоброжелатели считали бесноватым из-за эпилептических припадков. Да и кого из гениев не называли сумасшедшим?

А Лев Николаевич очень переживал, что Достоевский, которого считал равным себе, так до него и не доехал. После его смерти Толстой писал: «Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском <...>. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератором, и литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним – никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что, чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум – тоже, но дело сердца – только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом – я один обедал, опоздал – читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».

Не смотря на то, что свидание «титанов мысли» так и не произошло в реальности, их пытались свести вместе «виртуально» критики и литераторы, анализируя их творчество в своих статьях, монографиях, книгах. Так, известный писатель и литературный критик Дмитрий Мережковский в своей монографии «Л. Толстой и Достоевский» исследует и сопоставляет творчества и мировоззрения обоих писателей. Философ и литературный критик Константин Леонтьев в изданной в 1882 году брошюре «Наши новые христиане» рассуждал об общественно-религиозной состоятельности их учений. Свое мнение о писателях выразил в свое время и философ Николай Бердяев: «Как глубоко различие между Достоевским и Толстым!.. Толстого не мучит вопрос о человеке, его мучит лишь вопрос о Боге. Для Достоевского же вопрос о Боге связан с вопросом о человеке. Толстой более теолог, чем Достоевский». Философ и культуролог Григорий Померанц в своей книге «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» констатировал: «Наиболее полно русская жизнь, со всей ее красотой и безобразием, со всем ее размахом, отразилась в романах Толстого и Достоевского. Развитие их было очень сложным; понять его, вложить в схему – особенно трудно».

Толстой и Достоевский должны были встретиться и встретились – в этой книге.

Лев Толстой Без любви жить легче

Исповедь

I

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень интересное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться, и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частию встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет,

не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще все делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное знание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменялось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

II

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал

быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетюшка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной: «Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»¹; еще другого счастья она желала мне – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достига-

¹ Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной (фр.).

ющих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно – возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.

III

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил,

потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидел, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятия крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так

смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?...» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил

себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

IV

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общезначительнее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми-десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся

она, – как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче – завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, – что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожраным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, – а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвести от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное все – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.

«Семья...» – говорил я себе; но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?...» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне

и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе. – Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающий человек спасенья, – и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное человеку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученым, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, – я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волею-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный, другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, – и я увидел, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, – это значит ничего не сказать. Все это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни перед, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, – к физиологии, психологии, биологии, социологии, – то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, *идеалов*, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, – странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или: «зачем я живу», или: «что мне делать», – человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторических, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И, наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, – метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? И зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущ-

ность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет? ... И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, – и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

VI

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидел ясно беспредельные пространства, но увидел, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидел мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю, – говорил я себе, – все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – Ничего. – Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего. – Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек прееет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек рассколется – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами, – там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же, – ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, – говорит Сократ, готовясь к смерти. – К чему мы, любящие истину, стремимся к жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, – говорит Шопенгауэр, – и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознательности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (*Wille zum Leben*), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так боимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отсеклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, *есть ничто*».

«Суета сует, – говорит Соломон, – суета сует – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать

мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и насладюсь добром; но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе дома, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревьев; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянувшись я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянувшись я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего...

Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость.

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выпрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И

когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то. «Что это?» – Мертвый человек. – «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» – Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. – «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да. – «Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», – говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, – зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни», – говорит Шопенгауэр.

«Все в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», – говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», – говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, – напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Все – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

VII

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда

только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде, – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче – завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидел их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шуток, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?... Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и

глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. – Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете – органическое и неорганическое – все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что, как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних-давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами

думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так, – говорил я себе. – Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

VIII

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – *так*, какие-то скоты – не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, соломонов и шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, «потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их складывается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и прези-

раемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это Бог, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

IX

Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидел ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: $a = a$, или $x = x$, или $0 = 0$. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тождества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: $0 = 0$, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону божью. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидел, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидел одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что $0 = 0$, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понято, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем, с тем чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю все разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет $0 = 0$, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

Х

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.

Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, – я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а

затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, – не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия, такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с соломонами вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали

на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это – добро. В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я взгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

XI

И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, – я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как $2 \times 2 = 4$, но я не признавал ее, потому, что, признав $2 \times 2 = 4$, я бы должен был признать то, что я нехорош.

А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем $2 \times 2 = 4$. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, – что, если б они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь, – другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, – ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле, – кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то, очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

ХП

Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что

это только есть настоящая жизнь. Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием бога.

Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пишу в высокой траве, но я пишу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», – говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования бога я переходил к отысканию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и сиять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога, – говорил я себе, – нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога – не бог, – сказал я себе. – Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и

не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег – это был бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгребиться к берегу – соединиться с богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

ХІІІ

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольникового народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленного ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, – естественно, если есть один ответ, отвечаю-

щий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.

XIV

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения все яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-богу предадим», – если я объяснял частое повторение

молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ноzi врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие, как херувимская и все таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявление, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокаивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставлен в дилемму – или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каюсь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме гибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Вели-

кого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колоде, о монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

XV

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквям – к католицизму и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидал, что всех, не исповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидал, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и выдавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди

не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какую должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал все, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к *filiocue* и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблуд-

ших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

XVI

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, — я все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, — исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или, по крайней мере, неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это — одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

* * *

Это было написано мною три года тому назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами

и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движением выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» – и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

Воспоминания

Введение

Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидел, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография.

В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении:

Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю.

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

«6 янв. 1903 г.

Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что лич-

ность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, – сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: x = положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастье – уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, – таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидел, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, – похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение.

Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в

формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его «Sentimental journey») и Töpfer'a («Bibliothèque de mon oncle»)².

В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, – мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное – полезнее другим людям.

I

Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1 1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю – не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.

Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица – от отца до кучеров – представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, – которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, – четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, – и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, – рассказывала мне ее горничная, – но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата – равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, – я хорошо знал это.

Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.

Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением нешто Тат. Алекс. Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

Кроме того, у обоих была еще другая черта, обуславливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей, – это то, что они никогда, именно никогда никого, – это я уже верно знаю

² Стерна («Сентиментальное путешествие») и Тёпфера («Библиотека моего дяди») (англ. и фр.).

про брата, с которым прожил половину жизни, – никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, – это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невожатый во многом монах такую награду? Ему отвечали: «Он никогда не осудил никого».

Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная и т. д. – были самые пространственные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были неискреннее.

Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «Ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'être auprès de toi...»³ и т. п. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое: «mon bon ami»⁴, и в одном из писем прямо говорит: «Le temps me paraît long sans toi, quoiqu'à dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici»⁵, и всегда подписывается одинаково: «ta dévouée Marie»⁶.

Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.

II

Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б...».

За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.

Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слышал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того

³ Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастье быть около тебя (фр.).

⁴ Мой добрый друг (фр.).

⁵ Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь (фр.).

⁶ Преданная тебе Мария (фр.).

времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение станovým, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.

Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князя разменялись портретными галереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в андреевской ленте и рыжей толстой Варварой Васильевной – кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын, умер от горячки перед свадьбой, имя которого мне, 4-му сыну, дано в память этого Льва. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: *mon petit Benjamin*⁷.

Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец, даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой *m-elle Hénissienne*, про которую я слышал от тетюшек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. *M-elle Hénissienne* эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Волхонского, деда теперешнего писателя Волхонского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой *m-elle Hénissienne*. Пишет она про свою дружбу по случаю дружбы двух девиц, живших у нее в доме: «*Je m'arrange très bien avec toutes les deux: je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, ou je médis du monde frivole avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillées, car il n'y eut jamais d'amitié plus querelleuse et plus drôle à voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des réconciliations, des injures, et puis des transports d'amitié exaltée et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitié qui a animé et troublé ma vie pendant quelques années. Je les regarde avec un sentiment indéfinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disant le franchement, le bonheur solide et réel de l'âge mûr vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, où tout est embelli par la toute puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage*»⁸.

⁷ Мой маленький Вениамин (*фр.*).

⁸ Мне хорошо с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дую с одной, говорю о чувствах, пересуживаю легкомысленный свет с другой, любима до безумия обеими, пользуюсь доверием каждой, я их мирю, когда они ссорятся, так как не было дружбы более бранчивой и более смешной на вид, чем их дружба. Постоянные неудовольствия, плач, утешения, брань и затем порывы дружбы, восторженной и чувствительной. Так я вижу, как бы в зеркале, дружбу, которая одушевляла и смущала меня в продолжение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у

Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать все возможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, – это то, что он «задумывается» и вместо *bonsoir*⁹ или *bonjour*¹⁰ говорит бабушке: «Je vous remercie»¹¹.

Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.

Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.

Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.

Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме бабушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве».

Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я – меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери, – кажется, не больше 9 лет, – была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких соседей Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещал Ясной Поляны. Жизнь матери проходила в занятиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве. Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно, беззаботно, без напоминания о конце. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи.

III

Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню.

меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, прочное и действительное счастье зрелого возраста, стоит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всемогуществом воображения? А иногда я усмехаюсь их ребячеству (*фр.*).

⁹ Добрый вечер (*фр.*).

¹⁰ Здравствуйте (*фр.*).

¹¹ Благодарю вас (*фр.*).

Не буду говорить о смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню, с того места и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Илинька был ушиблен в детстве, стал горбатым и умер в детстве. В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13–14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж. Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало быть, лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот впавший в нищество брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе – это видно по письмам, – вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором. В Казани же была выдана сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшкова. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.

Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее добр и слаб. Так что и за его время я никогда не слышал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказывать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитывавшей нас и ненавидевшей телесное наказание, никогда не допускавшей его для нас, а также и для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня. Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело уже было совершено.

Возвращаясь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли

отца часто уезжать из дома. Кроме того, уезжал он часто и для охоты – и для ружейной и для псовой. Главными товарищами его по охоте были его приятель, старый холостяк и богатый Киреевский, Языков, Глебов, Исленьев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков – пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата камердинеры Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и лихие охотники. Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественноисторических сочинениях – Бюффон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти *Histoires des croisades et des papes*¹², которые он приобретал в библиотеку. Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образования людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. В одном письме из Москвы к матери он пишет в своем шуточном тоне про Юшкова Осипа Ивановича, брата своего зятя: «Осип Иванович воображает, потому что шталмейстер. Но я ни крошечки не боюсь его. У меня есть свой шталмейстер». Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.

Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю»: «Прощай, свободная стихия...» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек...» и т. д... Его поразило, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сертук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине». Помню, как мы с ним ходили гулять и как увязавшиеся за нами молодые борзые, разрезавшись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как для охотничьего праздника, 1-го сентября, мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее и где-то – мы не видели – борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли соструненного, большого, с связанными ногами, серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз

¹² Истории крестовых походов и пап (*фр.*).

струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пушай». Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять. Но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и сердито махал рукой, возвращаясь домой.

Самые же приятные мои воспоминания о нем – это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладыванья пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка, с своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом, на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами и прядет и стучает клубком изредка об стену, где она уже сделала клубком выемку. Петровна эта – торговка, почему-то полюбила бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной на диване. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит черно-пегая хортая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушкой и тетушками, целуясь рука в руку. Помню, раз в середине пасьянса и чтения отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то.

Мы все смотрим туда же.

Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой складывающейся розанчиком кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смеется на его на цыпочках осторожно шагающую фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает – радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую жилистую руку.

Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер.

Но об этом после. Теперь о следующих членах нашей семьи, среди которых прошло мое детство.

IV

Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная – она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная – сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщиной. Кроме того, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Николая Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Дмитрия Петровича – Петра, Сергея и Михаила Севастопольского. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное – доверчивый. В имении его Белевского уезда, Полянах, – не Ясной Поляне, но Полянах, – шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам, – кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения. В Казани бабушка выдала меньшую дочь Пелагею за Юшкова, старшая, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Сакена. После

смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая» и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой капризничать бабушки и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею.

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею, впечатлениям. Первое – это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней, – вероятно, наше удивление и восхищение перед ее мыльными пузырями забавляло ее, – чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки, и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание – это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чашу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались не замеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись.

Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как щелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце – соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, которую везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой воспоминание – это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я зазнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка

перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степаныча: «Продолжать прикажете?» – «Да, продолжайте». – «Любезная сестрица, сказала она, – заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом, – расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». – «Охотно, – отвечала Шехерезада, – рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампы.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка. Расскажу после о моих дальнейших впечатлениях о бабушке во время переезда в Москву и жизни там, теперь же расскажу, что знаю и помню о другом важном для моего детства лице – жившей у нас родной тетке моей, Александре Ильиничне графине Остен-Сакен.

V

Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакена. Партия, казалась, очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете.

Скоро после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которых ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружают его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он объявил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась.

Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что, если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибнут, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погони, и гнал кучера. На беду на проселочной дороге, выходящей на большую, показался экипаж, и он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, и сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетки скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в

правой стороне груди навывлет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была не тяжелая. В то время как она, выздоравливая, все еще беременная, лежала у пастора, муж ее, опомнившийся, приезжал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она нечаянно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно; он, хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык, и когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба, она вырвалась от него, закричала, вбежали люди, остановили и увели его.

С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевнобольных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчения от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка – Пашенька, которая жила у нас и была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Пашеньке история ее рождения, но, когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки.

Тетушка Александра Ильинична после случившегося с нею жила у своих родителей, потом у моего отца и потом после смерти отца была нашей опекуницей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыни.

Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала ей взять ее кумой, если она вымолит у бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестной матерью и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдал посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к ней, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю обычно делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах.

Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами.

Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как она добродушно смеялась, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она

будто вместе с своей кузиной Молчановой ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение. Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Аline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуницей, но все, что она делала, не поглощало ее души, все было подчинено служению богу, как она понимала это служение.

VI

Третье и самое важное [лицо] в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушке. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили, девочек же решили взять на воспитание знаменитая в своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Скуратова и моя бабушка. Свернули билетки, положили под образа, помолившись, вынули, и Лизанька досталась Татьяне Семеновне, а черненькая – бабушке. Таненька, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году, воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и вместе с тем самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю», – сказала она. «Не сделаешь», – сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», – сказал он. Она вытянула белую руку, – тогда девочки ходили всегда декольте, – и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки. Застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидели ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

Такая она была во всем решительная и самоотверженная. Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «*Toinette, oh, elle était charmante*»¹³. Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой. Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:

¹³ Туанетта, о, она была очаровательна (*фр.*).

«16 Août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition – celle de l'épouser, de servir de mère à ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre – tant que je vivrai»¹⁴.

Так она записала, но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание. У нас были две родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.

Она была воспитана барышней богатого дома – говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрагивалась до фортепьяно. Она стала играть только уже, когда я взрослым учился играть, и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные – крепостные и обращалась с ними, как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я ни хотел, чтобы это было иначе – любовь к одному человеку – к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь. Она имела по своей любви к нам наибольшие права на нас, но родные тетки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь ее от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Л. А. Толстой, но жила душой с нами и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики, и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, mes chers amis»¹⁵, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, – сказала она дрожащим голосом, – вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с самых первых времен моего детства, когда еще я не мог понимать ее.

Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни. Хотя это воспоминание уже не детства, а взрослой жизни, я не могу не вспомнить моей холостой жизни

¹⁴ 16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива (фр.).

¹⁵ Мои дорогие друзья (фр.).

с ней в Ясной Поляне, в особенности осенними и зимними длинными вечерами. И эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием.

Комната ее была такая: в левом углу была шифоньерка с бесчисленными вещами, ценными только для нее, в правом – кивот с иконами и большим, в серебряной ризе, спасителем, посередине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной и другой диван, на котором спала добродушная старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окном под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочками, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле по вечерам.

Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой матерьяльной заботы, добрых отношениях ко всем, твердых, несомненно, добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознании убегающего времени. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на этом кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда добрые, ласковые, перекинешься с ней словом и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло стоит и теперь у меня, но оно уж не то.

Тогда можно было сказать: «*Wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich*»¹⁶. И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я – ее милую, энергическую, она – мою грязную, порочную руку, здороваешься тоже по старой привычке по-французски, пошутить с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью. Сажу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, который я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свече означает гостя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворе, про которую рассказывала ей Дунечка, потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, а грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы – всё воспоминания. Главные два свойства ее жизни, которые невольно заражали меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, упрек, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетушку, родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее, не осуждая и мужа сестры, очень дурно поступавшего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства о нем было то, что, когда он долго не приезжал, она говаривала: «Что-то наш Сергеус?»

¹⁶ Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливiec этот – я (нем.).

Только вместо Сережи – Сергеус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела – и не дела – дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства – любовьность и неторопливость – незаметно влекли в близость к ней и давали особенную прелесть в этой близости. От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я и не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат – вечных мучений: «Dieu qui est la bonté même ne peut pas vouloir nos souffrances»¹⁷.

Я, кроме как на молебнах и панафидах, никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощанья на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву.

«Заходи, заходи, – скажет она, бывало. – А я только что говорю Наталье Петровне, что Nicolas зайдет еще к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно, потому что показывало, что представление о мне и отце соединялось в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьими ножками в туфлях, и в таком же неглиже Наталья Петровна. «Садись, садись, пасьянс сделаем», – говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сиденья мне особенно мило памятливы. Бывало, скажет что-нибудь смешное Наталья Петровна или я, и она добродушно рассмеется, и тотчас же рассмеется и Наталья Петровна, и обе старушки долго смеются, сами не зная чему, а как дети, только потому, что они всех любят и их все любят и им хорошо.

Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была та атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

Я еще буду, если придется рассказать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выразившееся во время ее похорон. Когда мы несли ее по деревне, не было одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и требовали остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала», – говорили все. И ее любили и сильно любили за это. Лаодзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Также и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетеньки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас. Умирала она, почти никого не узнавая. Меня же узнавала всегда, улыбалась, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, стараясь произнести Nicolas, перед смертью уже совсем нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад, и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать от себя немножко денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait¹⁸ не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет.

¹⁷ Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий (*фр.*).

¹⁸ Если бы юность знала, если бы старость могла (*фр.*).

VII

Немца нашего учителя Фед. Ив. Ресселя я описал, как умел подробно, в «Детстве» под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты – все это действительно так было. Про братьев и сестру я расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но, кроме братьев и сестры, с 5-летнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темешова, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве: мужа тетки, Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Исленьева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темешов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темешов, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

Кроме того, Темешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, – это был Темешов. Что сказал Темешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим подбородком, как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.